

Н.С. Лесков

Кадетский монастырь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться - они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишённое занимательности, - сразу о четырех праведных людях так называемой "глухой поры", хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст - на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые "аббаты", - французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своему воцарении, сейчас же приказал: "Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых"¹.

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня - засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют "глухое", что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь "скалозубами", что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди

¹ Из "Краткой истории Первого кадетского корпуса", составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. (Прим. автора.)

высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце, потому что - грешный человек - вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мой воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Директор, генерал-майор Перский (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное "матушкой Екатериною". Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упорность, что на него махнули рукою и подаренное ему "матушкой" имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него "внимания и покровительства".

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

- Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное - вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение "подъезгозчик", и этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу "по форме", держался прямо и молодцевато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидели с сопровождавшим его

вестовым на тротуаре, - весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: "Михаил Степанович прошел по улице!"

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день непременно обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

- Ду-ур-рной кадет!.. - И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем "утешить Михаила Степановича".

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

- Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных, - и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, - он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими жестряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, найдя весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного

заведения и не допускать случайной оплошности перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

- Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребяташки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исааккезским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавших войск, которые состояли из батальона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, - кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона Московского полка.

Кадеты, услышав об этом или увидав раненых, без удержу, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не

спору и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую "передачу", то есть по всему фронту передали шепотом слова: "Пирогов не есть, - раненым. Пирогов не есть, - раненым..." Эта "передача"¹ была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные "на хлеб и на воду".

Делалось это таким образом: когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, "шло приказание", передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

"Есть арестанты - пироги не есть".

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. "Не едят, уносят, - ну и пускай уносят". Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

- Пирогов не есть, - раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в такой величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пятнадцатого декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

¹ Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова "передача", но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем. (Прим. автора.)

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать;

- Здесь дух нехороший!

- Военный, ваше величество, - отвечал полным и спокойным голосом Перский.

- Отсюда Рылеев и Бестужев! - по-прежнему с неудовольствием сказал император.

- Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев - все главнокомандующие, и отсюда Толь, - с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

- Они бунтовщиков кормили! - сказал, показав на нас рукою, государь.

- Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человеческое, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант генерал-от-инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание "подтянуть".

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником. Демидов начал с того, что сказал:

- Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый описок.

- У нас нет худых кадет, - отвечал Перский.

- Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

- Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

- Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

- Как в унтер-офицеры! За что?

- За дурное поведение.

- Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

- Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

- А! в таком случае не для чего было собирать совет, - отвечал Перский. - Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено.

Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка сто баллов и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, стобальной системе, и мы слышали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как "варвар", и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему "наше презрение к нему и ко всем опасностям".

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудями приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе... Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этою неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука, - и стоим мы все, понунив головочки уныло, и вспоминаем Демидова "варвара", но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать, - знаете, ступень такая... освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

- Здравствуйтесь, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной "передачи" при его появлении не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

- Здравствуйтесь, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

- Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему "деточки". Если вы поздороваетесь с ними и скажете: "здравствуйте, кадеты", они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал: "Здравствуйте, кадеты!", мы единогласно ответили известным возгласом: "Здравия желаем!"

Но это не был конец истории.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После того как мы прокричали свое "здравия желаем", Демидов спустил с себя строгость, которую начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто, еще более для нас неприятное.

- Вот, - сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, - вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфетами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

- Вот тут целые пять пудов конфет (кажется, пять, а может быть, было и более) - это все для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

- Берите же, - это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфет, он успел шепнуть соседу:

- Конфеты не есть - в яму.

И в одну минуту "передача" эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфета не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфеты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфетою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский - главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев,

Впрочем, он ли их умел подбирать или они сами к нему под стать подбились, дабы жить в отрадном согласии, - этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит эконому. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым экономом в чине бригадира - Андрей Петрович Бобров.

Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был холост, как и надо по-монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, - теоретически, в рассуждениях, что, мол, "это будущность России", или "наша надежда", или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем.

Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров деваает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведовал всей экономической частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспреданно занятый научную часть, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, "чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты". Мошенники - это были мы, - так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил "кормить" и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего "старого Бобра"¹. Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было - все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не все: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не "утешить мошенника". Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

- Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетях-арестантах, которых сажали на хлеб на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подавание. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой; под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносят:

- Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

- Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

- Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали - и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик:

- Андрей Петрович на плацу!

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, - ворочается, бывало, у нас на руках, кричит:

- Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мне нездорово, - но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

¹ В "<Краткой> истории Первого кадетского корпуса" (1832г.): есть упоминания о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. (Прим. автора.)

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

- Следите за газетами: если только наш полк будет в деле, - на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое - серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро - для "общезития".

- Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, - так вот, чтобы было чем...

Так это и соразмерялось - накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам расстраивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами:

О ты, почтенный эконоом Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с годами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус "явиться Андрею Петровичу" - "старому Бобру". И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: "Что вам угодно?" А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб чесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

- Позвольте, позвольте, - говорит, - позвольте!

И если тот не опешил вполне открыться, то он ворчал:

- У нас был... мошенник... не из наших ли?..

- Ваш, ваш, Андрей Петрович! - отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его "благословение" - серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: "Прочь, прочь, мошенник!" и с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

- Ну... теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял:

- Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил. - И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

- Андрей Петрович! я, - говорит, - зван и обещался к такому-то, или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

- Знать ничего не хочу, - говорит, - важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой, - и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь третий постоянный инок нашего монастыря - наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга - никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял - тут и отдыхал возле больного на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перекому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

- У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил приказать Зеленскому поехать в дом этой дамы и вылечить ее ребенка, Доктор повиновался - поехал и скоро вылечил больного дитя, но платы за свой труд не взял.

Одобрят ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов и других нужных

врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, - это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. - Он и здоровых "мошенников" любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: "такой-то номер по преискуранту Английского магазина".

Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

- Батенька, - говорит, - вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

- Я и знать, - говорит, - этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

- Ну а если нужно, так и толковать не о чем, - отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужна для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как наше благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

- Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины - то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова-человека, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, на при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел - поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина - и опять сиди на месте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Веруя и постоянно говоря, что "главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней", Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни "Кот и повар". Не исполнено или неточно исполнено его приказание - не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленого, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: "вот какой

драчун или Держиморда", но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек своего времени, а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы "никого не сделать несчастным", и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах недопущения болезней, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана - сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он всегда обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии: вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит - выстрижены ли.

Редкое и преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их "подтянуть" и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом "подтянуть" Демидов понял - остановить образование. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музей. Библиотеку приказали запереть, в музей не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смиренного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то,

что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: "Для воинов и для жителей". Прежде она была надписана: "Для воинов и для граждан" - так надписал ее искусный составитель, - но это было кем-то признано за неудобное, и вместо "для граждан" было поставлено "для жителей". Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, - закрасить... Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что "никакие учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом" - они "уединоображиваются"¹.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Можно представить: как мы при таком учении выходили учены... А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он любил нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внести с собою как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же поведение. А потому будут целесообразнее и все поступки в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

- Что у него?

- Так и так, - отвечает Зеленский, - весь аппарат бездействует, что-то вроде miserere².

¹ См. не действующее более "Наставление к образованию воспитанников военноучебных заведений", 24 декабря 1848 года, СПб, Типография военноучебных заведений. (Прим. автора.)

² Жалеть, иметь сострадание (лат.); здесь - безнадежное состояние больного.

- Oleum ricini¹ давали?

- Давали.

И еще там что-то спросил: давали?

- Давали.

- A oleum crotoni?²

- Давали.

- Сколько?

- Две капли.

- Дать двадцать!

Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, и тот остановил:

- Дать двадцать!

- Слушаю-с.

На другой день спрашивает:

- А что больной с miserere: дали ему двадцать капель?

- Дали.

- Ну, и что он?

- Умер.

- Однако проняло?

- Да, проняло.

- То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы проняло.

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частью были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался последний, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто "отец архимандрит", а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового³ возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходящей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, - я всегда думал: "вздор мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не

¹ Касторовое масло (лат.)

² Кротонное масло (лат.)

³ Сердового возраста - средних лет

попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни". А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю послушаться, и он это видел: всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключающиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходе, стараться приобретать познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и некстати приставая: "молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит". Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога и чьи не доходят. А потом этих же "ангелов" растягивали и драли, как Сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были не подготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис - наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

"Подумаем, - так говорил архимандрит, - не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческого, а сошел бы с неба в торжественном Беличий, как божество, окруженное сонмом светлых, служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?"

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали его разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановись, продолжал так:

"Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: "Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода

живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело". И я думаю, что, если бы Господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: "Там Тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы Ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело". И это очень важно и основательно, и для этого Он и сошел босой и пробрел по земле без приюта".

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделаться он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедение и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов с своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводя нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственной детям наблюдательностью очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главное всего нас выручали кресты... Один раз, заметив, что Демидов, где ни завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду готовить эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных - с покрывечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся - крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых. Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

- Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь "о предрассудках и пустосвятстве", где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотна белее, весь тряся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю кому приписать победу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитую проповедью "о предрассудках", Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив "благословение господне на вас", закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

- Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! - и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

- Дети! я вам говорю, - воскликнул он скоро, но спокойно, - в храме Божиим уместны только одни возгласы - возгласы в честь и славу живого Бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам запрещаю делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не "уединоображивается". Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, "не педагогичны" и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, «сильнее других делают историю». И если их "педагогичность" даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся..